

Павел Мельников-Печерский

Гриша



*Часть сборника
Княжна Тараканова и принцесса
Владимирская (сборник)*



Павел Иванович Мельников-Печерский

Гриша

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2377545

Княжна Тараканова и принцесса Владимирская : повести, рассказы, письма, очерк / Павел Мельников (Андрей Печерский).: Эксмо; Москва;

2011

ISBN 978-5-699-52030-5

Аннотация

«После колгуевского мещанина Аверьяна Самохинского, горького пропойцы, что возле кабака и жизнь скончал, оставался сын Григорий. Не было у него ни роду, ни племени; как есть – круглый сирота. Было уж ему лет тринадцать, а мальчишка все меж дворов мотался: где съест, где изопьет, где в баньке попарится, а все именем Христовым. Только и праздник, бывало, Гришутке, как иная бабенка, сжалившись над ним горемычным, обносок подаст ему. И пойдет сироте тот обносок за нову рубаху. Паренек был смиренный, тихий, послушный: нужда да сиротство чему не научат? И открыл ему господь разум: выучился Гришутка грамоте самоучкой, ходя по домам безграмотных мещан, читал им Псалтирь да Четьи-Минею...»

Павел Иванович Мельников-Печерский Гриша

Из раскольниковьего быта

Давно то было... Лет пятьдесят и побольше того в уездном городе Колгуеве жило богатое семейство Гусятниковых.

В дальнем углу городка, на самом на всполье, строенья Гусятниковых целый квартал занимали: тут были и кожевня, и салотопня, и свечной завод, и клееварня. До сих пор стоят развалины большого каменного их дома; от других строений следа не осталось – все вычистило в большой пожар, когда в два часа погорело полгорода.

И теперь есть в Колгуеве Гусятниковы, но люди захудалые, обнищалые! Из купцов давно в мещане переписались: старики только что не с сумой ходят, молодые – в солдатство по найму ушли. Сгиб, пропал богатый дом, а лет пятьдесят тому назад был он славен в Казани и в Астрахани, в Москве и в Сибири... Какие были богачи!.. Сколько добра было в доме, какую торговлю вели!.. Все прахом да тленом пошло!

Держался дом Гусятниковых матерью теперешних обнищалых стариков. Покамест жива была Евпраксия Михайловна, жили в богатстве и почете; не стало ее – все на иную

стать пошло, – унесла она с собой и прежнюю честь, и прежнее довольство, и прежнее житье-бытье Гусятниковых. Как схоронили ее, так и зачали сыновья путаться; путались они, путались, да лет через десяток и спать не ужинавши стали ложиться. А не были ни воры, ни бражники: люди тихие, обходительные и не дураки... И никакого после материнной смерти божьего наслания не было – ни пожара, ни потопа, ни суда, ни иного какого разорения. И в казенные подряды не вступали и откупов не держали... Такова уж судьба.

Правда, перед смертью Евпраксии Михайловны было горе у них. Но, кажись бы, от того горя нельзя было в кон разориться. Судьба, одно слово – судьба!

Отец Гусятниковых, муж Евпраксии Михайловны, торговал бойко, но дела не совсем в порядке держал. Когда помер, а помер-то он в одночасье, на чужой стороне – в Саратове никак, – чуть было не пришлось дела закрывать. Евпраксия Михайловна молодой вдовой осталась, на руках семья: пять сыновей, две дочери – мал мала меньше. Седьмым ребенком на сносях ходила, как пали к ней вести, что сожитель побившился. – «Порешились Гусятниковы», – заговорили по купечеству... Родила Евпраксия Михайловна, справилась, сорочины по муже справила и сама за дело взялась. – «Куда молодой бабенке с такими делами возиться, – заговорили купцы, – от таких дел и у старого купца затрещит голова! Куда ей?»

В немощах человеческих господь силу являет: молодая

вдова в три-четыре года дела на лучшую ногу поставила, ко-
жевенный завод, при муже чуть не заброшенный, так под-
няла, что сделался он первым по губернии, и на Макарьев-
ской ярмарке гусятниковская юфта стала всем знаема. Сы-
новей Евпраксия Михайловна вырастила, выучила, переже-
нила, дочерей за хороших людей замуж повидала: одну в Ка-
зань, другую в Муром, третью чуть ли не в Арзамас. Сыновья
не делились, все при матери жили даже и тогда, как своих
детей переженали. Одно слово – так хорошо да ладно устро-
ила все Евпраксия Михайловна, что и мужчине не всякому
так удастся. И наградил ее господь многолетием: видела Ев-
праксия Михайловна внуков женатых, нянчила, холила пра-
внуков, ото всех людей почтена была за жизнь строгую, по-
движную. Правдой жила: много потаенного добра творила
она, много раздала тайной милостыни, и на смертном одре
поднесла господу три дара: первый дар – ночное моление,
другой дар – пост-воздержанье, третий дар – любовь-добро-
детель.

Страннолюбие поревновала Евпраксия Михайловна. Кто
ни приди к ее дому, кто ни помяни у ворот имя Христово –
всякому хлеб-соль и теплый угол. С краю обширной усадь-
бы, недалеко от маленькой речки, на самом на всполье, сер-
добольная вдовица ставила особую келью ради пристанища
людей странных, ради трудников Христовых, ради перехо-
жих богомольцев. Много тут странников привитало, много
бедного народа упокоено было, много к господу теплых мо-

литв пролито было за честную вдовицу Евпраксию.

Женского пола странные люди у Евпраксии Михайловны в самом доме привитали; сама она с дочками, покамест замуж их не повидала, да со снохами за странницами, ради бога, ходила... Мужской пол по старому уставу должен жить особо, послужить старцу должен мужчина, – того ради ставила Евпраксия Михайловна на усадьбе особую келью, а потом искала человека, смотрел бы он за келейкой денно-нощно, был бы при ней неотходно, приносил бы старцам и переходим богомольцам горячую пищу; служил бы не из платы, а по доброму хотенью, плоть да волю свою умерщвлял бы, творил бы дело свое ради бога. В страхе господнем вспоенные, вскормленные сыновья сами на то дело позывались, но Евпраксия Михайловна им на то говорила:

– Полноте-ка вам, детки! Разве вам того неизвестно, что каждому человеку от бога своя дорога, каждому человеку от господина забота? Вам дана забота – вести торг честный, на келейное дело вы, мои ребятки, не сгодились. Семка присмотрим сироту такого, был бы смиренный да богобоязный, бога ради работающий, бога ради терпеливый. По силе помощь ему подадим: барский, так выкупим; вольный, рекрутску квитанцию выправим – станет он у нас старцев покоить да бога молить об отпущеньи наших согрешений... Ладно, что ли, ребятки?

Сыновья матери ни в чем не перечили, а по такому делу и подавно. Решили искать сироту. По скорости отыскивали та-

кого.

После колгуевского мещанина Аверьяна Самохинского, горького пропойцы, что возле кабака и жизнь скончал, оставался сын Григорий. Не было у него ни роду, ни племени; как есть – круглый сирота. Было уж ему лет тринадцать, а мальчишка все меж дворов мотался: где съест, где изопьет, где в баньке попарится, а все именем Христовым. Только и праздник, бывало, Гришутке, как иная бабенка, сжалившись над ним горемычным, обносок подаст ему. И пойдет сироте тот обносок за нову рубаху. Паренек был смирный, тихий, послушный: нужда да сиротство чему не научат? И открыл ему господь разум: выучился Гришутка грамоте самоучкой, ходя по домам безграмотных мещан, читал им Псалтирь да Четьи-Минею. И возлюбил Гриша божественные книги, и уж так хорошо пел он духовные песни, что всякий человек, что в суете век свой проводит, заслушается, бывало, его поневоле. А был он из раскольников, из «записных» – из самых, значит, коренных – деды, прадеды его двойной оклад платили, указное платье с желтым козырем носили, браду свою пошлиной откупали. Это было с руки Евпраксии Михайловне: и сама она с детками «по древлему благочестию» пребывала. Только были они не злой какой секты, а по беглому священству – по Рогожскому, значит, кладбищу.

И взяла к себе в дом Евпраксия Михайловна бездомного сироту Гришу. Обмыли его, одели, рекрутскую квитанцию купили и, по доброй его воле, по его благому хотенью, при-

ставили к богадельной келье. Там, за кафельной печкой-голанкой, устроили ему особую каморку. В той каморке, об одном малом оконце, стал жить и подвизаться молодой келейник, а в свободное время, когда в келейке ни скитских старцев, ни переходжих богомольцев не бывало, читал книги о житии пустынном, о подвижниках Христовых, что в Палестине, и во Египте, и в Фиваидских пустынях трудным подвигом, ради господа, подвизались.

Живет Гриша у Евпраксии Михайловны год, живет другой, живет третий, старцам и странним людям служит, божественные книги читает.

Отверстою душою, умом нераздвоенным внимает он древним сказаньям о подвигах отцов преподобных. С жаром, с любовью читает «Повесть об индейском царевиче Асафе». Вот думает, бывало, Гришутка: «Вот – и царевич был, и царством владал, жил в белокаменных палатах, было у него золотой казны несметно, всяких сокровищ земных неисчетно... Променял же царские брашна на гнилую колоду, сладкие меда на болотну водицу...» И западала в юную голову Гриши крепкая дума – как бы ему в дебрях пустынных постом и молитвой спасти свою душу... Разрасталась, расширялась у него та дума, и, глядя на синеву дремучего леса, что за речкой виднелся на краю небосклона, только о том и мыслил Гриша, как бы в том лесу келейку поставить, как бы там в безмятежной пустыне молиться, как бы диким овощем питаться, честным житием век свой подвизаться, столп ради

подвига себе поставить и стоять на том столпе тридесять лет несходно, не ложась и колен не преклоняя, от персей рук не откладая, очей с неба не спуская...

Стоит, бывало, стоит юный келейник, вперя вдаль свои очи, стоит, ничего не слышит, по душе у него сладость разольется, и, сам не знает отчего он заплачет; заструятся по впалым бледным ланитам горячие слезы, и запоет он тихонько стих в похвалу пустыне:

О, прекрасная мати-пустыня!
Сам господь тебя, пустыню, похваляет:
Отцы по пустыне скитались,
И ангелы им помогали...
Прекрасная ты пустыня,
Прекрасная ты раиня,
Любимая моя мати!
Прими ты меня, мать-пустыня,
От юности моей прелестной!
Научи меня, мати-пустыня,
Жить и творить божье дело!

И долго-долго, бывало, тихим тоскливым напевом поет Гриша свою песню, глядя на синеву лесную. Спустится на землю вечерняя тень, черной полосой вытянется лес по краю неба, а он все поет да поет любимую песню... Яркие звезды одна за другой загораются в небе, полный месяц выкатится из-за леса, серебристым лучом обольет он широкие

луга и сонную речку, белоснежные песчаные берега и темные, нависшие в воду ракиты, а Гриша, ни голода, ни ночью-го холода не чуя, стоит босой на покрытой росой луговине и поет-распевает про прекрасную мать-пустыню...

Подвизался Гриша житием строгим; в великие только праздники вкушал горячую пищу, oprичь хлеба да воды ничего в рот он не брал. Строгий был молчальник, праздного слова не молвил, только, бывало, его и слышно, когда распевает свои духовные псалмы... И что ни делает, где ни ходит, все молитву господню он шепчет.

На усадьбе Евпраксии Михайловны много жило народу: тут стояли заводы кожевенный, салотопный, свечной, клееварный, тут же кошму из шерсти валяли, овчины выделывали, – одних работников что тут жило? А кроме того, по торговой части приказчики да артельщики и другие наемные люди – и все-то жили в особых избах, каждый со своим семейством. Так устроила своих домочадцев добрая, заботливая обо всем Евпраксия Михайловна. По задворью, по огороду, по всему широкому усаду день-деньской народ так и снует, так и кишит, так и носится роем. С раннего утра до поздней ночи стоном стоят голоса... На таком-то великом многолюдстве, на такой-то суете шумной слова ни с кем не молвил Гриша-келейник... Ходит, опуствя очи долу, ничего не видя, ничего не слыша, и беззлобно, безответно переносит злые насмешки рабочих, щипки да рывки мальчишек. Но глумленья, укоризн и всякой досады от них Гриша-келейник

не боялся, все озлобленья суетных людей принимал с весельем, почитая их за благодеянья... Зато пуще огня, пуще полымя боялся он женского пола. Наслушался от переходящих старцев и сам в книгах начитался, что женская лепота горше всякого другого соблазна, что самых строгих подвижников враг человеческого рода, диавол, всегда иский кого поглотити, уловляет в геенские сети женской греховной красотой.

А молодые девчата – десятков до трех их жило на усаде – изловят, бывало, Гришу на огороде либо на всполье, хватить его за руки, да и ну – вокруг себя вертеть, тормошить, обнимать его белыми, как молоко, полными упругими руками... А сами звонкими, смеющимися голосами страстно, любовно ему напевают:

Монашек, монашек,
Купи нам калачик,
Мы тебя, монашек, поцелуем,
Под ракиновым кусточком побалуем...
Монашек, монашек,
Купи нам калачик.

Молитву за молитвой творит бедный Гришутка, крепко зашурив глаза, чтоб не встретиться взором с светлыми, пуще огня палящими девичьими очами... Дня по два, по три после того искушенья бывал он сам не в себе... И накладывал он пост втрое строже, насыпал в каморке кремней и битых стекол, ходил по ним босыми ногами, клал тысячи по три по-

клонов, налагал на плечи железны вериги и прилежно читал книгу Аввы Дорофея. Хочется заглушить в душевном тайнике память о жгучем, томительном, захватывающем дыханье чувстве, что сладко-огненной струей пробегало по всем его суставам и, ровно пламенной иглой, насквозь кололо его бедное сердце, когда белолицые, полногрудые озорницы, изловив его, сжимали в своих жарких объятьях, обдавали постное лицо горячим, сладострастным дыханьем... Стоит Гриша на кремнях, на битых стеклах, перед книгой Аввы Дорофея, громким голосом истово и мерно ее читает, а все слышится ему звонкий хохот Дуняши, самой озорной из всех усадских девок... Завсегда, бывало, эта Дуняша первая подустит на келейника девок, первая подманит подруг на всполье, первая затащит Гришу в круг девичий, первая заведет игры, первая успеет обвить шею постника жаркими руками и с громким, далеко разносящимся в вечерней тиши смехом успеет прижать отуманенную голову его ко груди своей лебединой...

Стоит Гриша, борзо, истово лестовку перебирая, бессчетно кладет земные поклоны, а потом читает «Скитское покаянье»: «Согрешил есмь душею, и умом, и телом, сном и леностью, во омрачениях бесовских, в мыслех нечистых». Так шепчет Гриша, глядя в «Скитское покаянье», но слова звучат без участия ума – помыслы мятежного, полного прелестей мира восстают перед ним в обольстительных образах, и таинственный голос несется из глубины замирающего серд-

ца... Сладко, соблазнительно он говорит ему: «Помнишь Дуню молодую?.. Помнишь, как глаза у ней горели?.. Помнишь, как грудь колыхалась?..»

Вздрогнет всем телом Гришутка, вырвется отчаянный вопль из души его. Сам себя пугается, торопливо ограждает себя крестным знаменьем, и, судорожно схватив с наложья «Скитское покаянье», громко барабанит, не спуская глаз с книги:

«Грядет мира помышление греховно, борют мя страсти и помыслы мятежны. Помилуй, Господи, раба своего, очисти мя окаянного, скверного, безумного, неистового, злопытливого, неключимого, унылого, вредоумного, развращенного...»

А голос свое:

«Вспомни, как горели очи ясные, как рделись багрецом щеки маков цвет... Вспомни, как, дрожа всем телом, изнывая в сердечной истоме, она обняла тебя... как прильнула к тебе алыми устами, как прижала тебя к белоснежной груди...»

– Изми мя от враг моих, – громко читает по книге келейник, – и от восстающих на мя; изми мя от руку диаволу; от жени от мене помрачение помыслов, дух нечист и лукавнующий; избави мя от сети ловчи, не вниди в суд с рабом своим...

А голос сердечный:

«Брось молитву!.. Вон из кельи!.. К ней поди!.. Посмотри,

как в светелке она спит одна у окна... Высоко поднимается грудь, и раскрыты уста, и дыхание ее горячо...»

– О Господи!.., падаю... – шепчет келейник, – спаси...

А голос:

«Как бы сладко прильнуть к красоте молодой!»

Последние силы собрал Гришутка, прогнать бы только лукавого беса... И крепко ухватил он лестовку, хочет молитву читать на прогнанье бесовских мечтаний... Но сухие, дрожащие уста нехотя вторят тайному, сердечному голосу: «Как бы сладко припасть к ее персям щекой огневой...»

А где она огневая?.. Всю в посте иссушил...

Вдруг стукнуло оконце... растворилось. В белых рукавах, в белом переднике, в бледно-розовом сарафане, с распущенными длинными темно-русыми волосами, в венке из свежих васильков, вся облитая сияньем месяца, лукаво улыбаясь и прищуря искрометные глазки, глядит на постника белотелая, полногрудая красавица Дуня. Страстью горячеей, ничем не одержимой, страстью любви пышет она...

– Здравствуй, Гриша, голубчик!.. Здравствуй, дорогой мой, желанный!.. – ясным голоском крикнула и, заливаясь резвым хохотом, кошечкой прыснула к подругам на всполье. И в тиши ночной раздается над речкой девичья песня:

Мы посеем, девки, лен, лен, лен.

Мы посеем молодой, молодой...

Стоит Гриша босой на кремнях, на стеклах, как вкопанный, – лестовка из рук выпала, «Скитское покаянье» на полу валяется, давят плечи тяжелые вериги. Тихо шепчет келейник:

– Ах, ты, Дуня, моя Дуня!..

А с поля несутся веселые звуки ночного хоровода:

Как во городе было во Казани,
Сдунинай-най-най – во Казани.
Молодой чернец постригался,
Сдунинай-най-най – постригался.

А свежий воздух майской ночи теплым, душистым потоком так и льется через отворенное Дуней оконце в душную келью стоящего на кремнях и стеклах постника. Тихо рыдает отшельник, по распаленному лицу его обильно струятся слезы, но они не так ему сладки, как те, что лились прежде, когда, глядя на зеленый лес, в самозабвении, певал он песню в похвалу пустыне.

Идут день за день, год за годом – Гриша все живет у Евпраксии Михайловны. Темнеют бревенчатые стены и тесовая крыша богадельной кельи, – поднимаются, разрастаются вокруг нее кудрявые липки, рукой отрока-келейника посаженные, а он все живет у Евпраксии Михайловны. И сам стал не таков, каким пришел, – и ростом выше, и на вид возмужал, и русая борода обросла бледное, исхудалое лицо его.

Много всякого народу перебивало на глазах Гриши: раскольники ближние и дальние, каждый трудник, каждый перехожий богомолец, идут, бывало, к Евпраксии Михайловне о всяку пору, ровно под родную кровлю. Кто ни брякнет железным кольцом о дубовую калитку страннолюбивой вдовицы, кто ни возвестит о себе именем Христовым, всякому готов теплый угол, будь раскольник, будь единоведец, будь церковник – все равно, отказу никому не бывало. «Все люди – Христовы человеки», – говорила Евпраксия Михайловна, когда скитские матушки иль читавшие негасимую «каноницы» зачнут, бывало, началить ее: сообщаешься-де со еретики, даешь всякому пристанище – и покрещеванцу, и никонианину, и бог весть каким иным сектам.

Много разного народа видал Гриша; но еще не случилось видеть таких подвижников, про каких писано в Патериках и Прологах. «Неужли, – думает он, бывало, – неужли всех человеков греховная, мирская суета обуяла?.. Неужли все люди работают плоти? Что за трудники, что за подвижники?.. Я и млад человек и страстями борим, а правила постничества и молитвы тверже их сохраняю».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.